

В бассейне холодно и пахнет хлоркой, едкой и безнадёжной, как долгая зима. Светло-голубая кафельная плитка, лязгающие дрожащими железными дверцами шкафчики и пронзительный свет люминесцентных ламп — царство беспощадной Хлорной Королевы от шумной раздевалки до мокрых резиновых ковриков у воды.

Маша ненавидит бассейны с самого детства. Мучительнее всего ей в первые минуты, когда нужно раздеться, делая лицо равнодушное и бывалое, сложить одежду в шкафчик и пройти в душевую. Но спрятаться не получится: и там лёд кафеля, стали и света, ждущий впереди, никак не отменить.

Посетительницы бассейна плавают основательно, с чувством: разноцветные резиновые шапочки и плотные купальные костюмы размеренно двигаются вдоль пластиковых бусин разделителей дорожек. Маша старается никому не мешать, тихо шевелится у бортика, ждёт, пока пройдёт положенный ей час, а потом наблюдает, как женщины рывками поднимаются из воды, перехватывая сильными руками блестящие скобки поручней.

В раздевалке Маша снова испытывает чувство оглушительного стыда, стягивая с себя мокрый купальник и стараясь не поднимать глаз. Обрести взрослое равнодушие к собственной наготе ей никак не удаётся, без одежды она чувствует себя совершенно беспомощной и мягкой, таким дождевым червяком на асфальте. Впрочем, стесняется только она, остальные пловчихи одеваться не торопятся: шуршат пакетами, расправляют тёплые колготки,

что-то подтягивают в белевых ляках. Тела окружают женщины как самые надежные убежища, бастионы из плоти и крови, крепкие или рыхлые, бледные или загорелые, такие разные, но удивительно похожие своей уверенностью.

Маша одевается быстро, наскоро сушит волосы феном и спешит выйти на улицу. Толкнув тяжёлую дверь, она чувствует, как живущий в бассейне влажный холод хлорки тает в морозном воздухе.

Белая папина “девятка” уже ждёт у остановки. Сегодня он не опоздал, и Маша издалёка видит, как его руки стучат по рулю, отбивают ритм неслышной мелодии. Открыв дверь, Маша окунается в мешанину странных звуков — папа предпочитает удивляться музыке, а не наслаждаться ею.

— Потише сделай, а? Голова болит. — Про боль Маша соврала, но папа сочувственно улыбается и выкручивает ручку громкости влево.

— Машка, привет! Я устал, как чёрт! Ты просто не представляешь, что сегодня было! У меня в машине мужик помер, вот на том месте, где ты как раз сидишь!

— Пап, поехали уже, я есть хочу.

— Да ты погоди! Дай расскажу!

Маша старается не слушать, смотрит на людей — стоят себе, ждут автобуса, думают о чём-то своём. Интересно, почему человек на остановках часто делает такое презрительно-независимое лицо, будто бы он только сегодня вынужден опуститься до общественного транспорта, а обычно добирается до цели как минимум на личном вертолёте?

— Да ты послушай, послушай! Я их на Курчатова подобрал, без вызова, думал, подброшу за сотку, если по пути! Бабка вся в чёрном, и мужик с ней, ну, дед, скорее. Жёлтый весь, как мумия. Сел, двумя руками в бардачок уперся и гудит. А бабка сзади устроилась и кричит, типа, в больницу вези.

— Гудит? — без любопытства переспрашивает Маша, поняв, что помолчать не получится.

— Ну! Низко так, а громко, даже через музыку слышно! Я ему, типа, ты чего, дед? А он ничего не отвечает, а бабка сзади верещит, что болеет он, больно ему, срочно вези! А он, представь, вот так сидит!

Папа выставляет руки вперёд, иллюстрируя рассказ.

— Держись за руль, пожалуйста, — напоминает Маша.

— Да ты слушай! Ну, я думаю, раз такое дело, повезу в краевую — там недалеко. По газам, на красный, за десять минут добрались. А как машину у ворот заглушил, слышу — он замолчал. И бабка молчит, хотя всю дорогу орала — быстрее, быстрее. Сидим, короче, все и молчим. Ну, я потом вылез, пошёл искать там хоть кого-то, какую-то санитарку нашёл, говорю, у меня там дед гудел, а теперь молчит. Пока разобрались, пока прислали кого-то. Вытащили его, унесли. А бабка мне говорит, типа, молодец, сынок, быстро вёз. Визитку взяла зачем-то и пошла за дедом влед.

— Ага, всё ясно. Пап, в магазин не забудь, масло кончилось. — Маша зевает и ёжится — замёрзла.

Папа сворачивает к магазину, останавливает машину и высказывает на улицу, но заглушая двигателя. Маша смотрит, как он бежит, оскальзываясь и махая руками для равновесия, без шапки, в распахнутой куртке.

На прошлой неделе огромная чернокожая женщина принялась рожать в его “девятке”, но он знал секретную дорогу через дворы и успел доставить негритянку в роддом. А сегодня вот мертвеца в больницу подвёз.

Маша с досадой думает, что папа постарел: когда она была маленькой, он не позволял своим историям повторяться. Она откидывается назад, поморщившись от прикосновения влажных волос к затылку, и закрывает глаза. Как жаль, что день ещё не закончен. Сегодня четверг, и папа знает, куда её нужно отвезти.

* * *

Эта новая девятиэтажка, выросшая посреди города совсем недавно, похожа на гигантский блестящий холодильник, утыканный сотнями мелких полуслепых окон, и в каком-то из них — Маша никак не может сообразить, в каком, — наверняка маячит Мишкина голова. Он очень ждёт.

Папа смотрит на дом-холодильник, морщится и бормочет что-то еле слышно.

— Что, пап? — переспрашивает Маша, стараясь не смотреть в его лицо.

— Машка, ты там матери скажи, чтоб заканчивала дурью маяться, пусть возвращается. Скажи, что я работу нашёл нормальную, денег всем хватит, и Мишку обязательно отдадим на танцы. Скажи, что я её жду.

— Ладно, пап, я передам.

Там, где теперь живёт Машина мама, всегда пахнет стиральным порошком. И вообще очень чисто — Маша не помнила, чтобы мама раньше была такой усердной хозяйкой. Должно быть, Владимир очень любит порядок и расписание. Вот, например, Маша всегда должна приходиться в гости по четвергам. Поначалу, скучая по Мишке, она несколько раз забегала без приглашения, но мама попросила больше так не делать — Владимир нервничает.

Маша аккуратно жмёт на кнопку звонка и с большим удовольствием представляет себе, что бы сказал папа, если бы увидел нового маминго мужа. Владимир высокий, стройный и, в общем-то, даже симпатичный, но Маше кажется, что он упакован в невидимую смирительную рубашку. В старых романах таких называли “чопорными”, однако папа наверняка придумал бы что-нибудь посмешнее.

Дверь открывает мама с незнакомой улыбкой и странным выражением лица. Маша до сих пор не может понять: маме стыдно? Гадко? Скучно? Пока Маша снимает пальто, мама стоит рядом близко-близко, и Маша хочет сказать ей то, что папа просил, но в коридор влетает Мишка, взъерошенный и счастливый.

— Маша! Ты пришла! Я так тебя ждал! Пошли скорей заниматься!

Следом за Мишкой, шлёпая твёрдыми пластиковыми тапками, идёт Владимир. Он говорит, растягивая слова и приседая на гласных звуках — это вызвало бы в папе ещё больший смех.

— Да, Михаил, сестра пришла. Но это не повод для топота. Сейчас будем ужинать, занятия после. Здравствуй, Мария, проходи.

Маша до сих пор хвалит себя за находчивость — несколько месяцев назад, увидев, что Владимир с трудом выносит её визиты, она предложила бесплатно заниматься с Мишкой математикой. Новый мамин муж чрезвычайно практичен и быстро сравнил ущерб, наносимый одним неприятным вечером в неделю, с расходами на репетиторов. Теперь он почти радушен.

Чаще всего ужин проходит в молчании, прерываемом только одобрительным “М-м!”, издаваемым Владимиром при смене блюд. Но сегодня Владимир необыкновенно разговорчив и оглядывает Машу как-то по-новому, оценивающе.

— Мария, — говорит он и сопровождает обычным “М-м!” поставленную перед ним салатницу. — Мы с твоей мамой хотели бы предложить тебе раз и навсегда изменить твою жизнь! Тебе интересно узнать подробности?

Маша видит, как мгновенно краснеет Мишка, но кивает.

— Мы знаем, как тяжело тебе живётся. Учебное заведение некачественное, непрестижное, кем ты там будешь — менеджером, бухгалтером? И добавок другие... ээ... семейные обстоятельства. Это путь в никуда, полная бесперспективность, а мы, как твоя семья, не можем такого допустить! Как ты знаешь, к лету мы планируем достроить дом, и хотели бы, чтобы ты переехала туда с нами. Свежий воздух! Ежедневные прогулки! Твоя мама рассказала мне, как ты любишь плавать, и!.. — Владимир наклоняется вперёд и придаёт голосу немного доверительности, — и я попросил включить в архитектурный проект — внимание — бассейн!

Маша молчит и смотрит в тарелку, белую, без сколов и трещин, похожую на чистый лист бумаги с нарисованной на нём отбивной.

— Знаю, это так неожиданно, можешь даже ничего не говорить нам сейчас! — продолжает новый мамин муж. — Такие удивительные жизненные перемены трудно осознать мгновенно! Но у тебя ещё почти полгода, чтобы привыкнуть и... э-э-э... закрыть свои обязательства. С твоей учёбой, думаю, мы разберёмся, — Владимир ободряюще улыбается и берёт вилку. — Всё можно решить, а возможности у нас имеются.

Все долго жуют суховатое мясо, а после пьют чай с трескучими вафлями. А когда стол пустеет, сидят в тишине: Владимир одобрительно улыбается сам себе, мама моет посуду, а Мишка с Машей поглядывают в сторону детской.

— Ну вот, теперь можно браться и за математику, да, малыши? — пошутил хозяин дома и встал, давая понять, что время тёплой семейной трапезы истекло, и пора отрабатывать съеденное.

В детской Мишка быстро обнимает Машу и коротко, жарко плачет, уткнувшись в её живот. Раньше она плакала вместе с ним, но теперь не позволяет себе расслабиться и просто гладит его по голове тихонько.

— Маш, Маш, ты поедешь с нами жить в этот дом? — шёпотом спрашивает Мишка. — Я очень хочу, чтобы ты поехала! Только папа как? Я же тогда не смогу ничего про него знать, и кто будет ему помогать? Звонить ему нельзя, письмо писать нельзя, ему к нам в гости нельзя, и меня к нему не пускают, а я просил маму! Скажи мне, как у него дела? Он кого-нибудь спас на этой неделе?

Маша опускается на колени рядом с Мишкой и рассказывает ему, что в воскресенье папа спас тётю и её ребёнка, а сегодня старенького дедушку, а теперь папа отдыхает, потому что очень устал.

Мишка слушает очень внимательно, и на лице его счастье.

Потом они садятся за письменный стол. Учебник по математике, клетчатые тетради, ручки и карандаши безмятежно греются под настольной лампой, а за окном тем временем рождаются быстрые и тревожные сумерки — такие бывают только в самой середине зимы, когда кажется, что целый мир останавливается и перестаёт жить.

Час проходит быстро, и Владимир уже выразительно покашливает за дверью. Мишка слышит этот кашель и снова обнимает Машу словно бы на прощание, а потом вдруг шепчет ей на ухо:

— А ты же знаешь про звезду Сирень? Знаешь, что она всегда рядом с нами?

Маша вздрагивает и сначала страшно злится на отца — надо же, успел рассказать, и когда умудрился! А потом злость уходит, и остаётся страшное бессилие: ничего не исправить, ничего. Она дотрагивается до колючей Мишкиной макушки — как же коротко его стали стричь! — и шепчет в ответ:

— Да, Мишут, конечно.

* * *

Как ни крути, время умеет быть милосердным. Инструментов у него предостаточно: и жёлтый ночник, и мягкая кисть, и маскировочная сетка. Время жалует нас, неразумных, и никогда не торопится, хотя мы подгоняем его криками и пинками. И пока мы бьёмся, огрызаемся и плюёмся, время тихо следует за нами, подбирает оброненные в пылу жизни сокровища и уносит их в особую комнату — каждый знает, где она, только мало кто хочет заглядывать туда по доброй воле. Но время уверено, что рано или поздно мы вернёмся и будем рыдать над треснувшими тарелками, выцветшими тряпками и порванными фотографиями.

Вот тут-то нам и понадобится помощь. И время охотно включит свой жёлтый ночник, смахнёт мягкой кистью пыль и пепел, набросит сетку с искусственными цветами и травой. И если зажмуриться и плотно прижать ладони к ушам, можно увидеть и услышать всё, что нужно.

В твоей особой комнате сокровищ немного. В углу валяется знакомая только тебе рухлядь: алюминиевый обруч, ветхие шторки в ситцевый цветок, зелёное кресло с деревянными ножками. Вещи кажутся беспомощными и обнажёнными, но одного лишь душевного усилия достаточно, чтобы они обрели свою давно потерянную значимость и яркость. Нет больше ветхости, нет больше пыли — инструменты времени работают отлично.

Проходи, не бойся. Становись вот здесь, у окна — в нём живёт предчувствие рассвета. Темнота, дрожащая от мороза, вот-вот сменится серым

утренним шумом, от которого ты просыпалась, тёплая, маленькая, смурная — почти безмолвный человеческий комочек на ладонях большого города.

Скажи-ка мне, что ты помнишь о тысяча девятьсот восемьдесят шестом? Ты ещё не школьница, но уже не малышка. Тихие детские дела, папины сказки, мелкие игрушки на колючем ковре, жёсткие сапожки и тугая шапка. Странный возраст — младенческая безмятежность уже далеко, и разговоры родителей нередко прерываются выразительными взглядами и шёпотом — мол, нельзя уже про такое, ребёнок всё понимает. А что тут поймёшь? Совершенно ничего не ясно.

Взрослые ходят большими шагами, смотрят большими лицами, и голоса у них тоже огромные, на всю квартиру. Некоторые взрослые мягкие и удобные — ловко берут на руки, гладят по волосам, спрашивают про куклу, кошку, детский сад. А некоторые пугают, потому что тычут внезапно твёрдыми пальцами в живот, а потом смеются очень громко.

У папы много друзей, они частенько заходят в гости, усаживаются на кухне, спорят и грозят кулаками старенькому чёрно-белому телевизору. Смотреть на них маленьким детям нельзя, и мама всегда уводит тебя в комнату, закрывает дверь и достаёт цветные карандаши. Ты рисуешь голоса — зигзаги и стрелы, а потом лица — на весь лист, красивые, с усами.

Папины друзья странные и страшные. Но страшнее всех дядя Игорь — он очень толстый, высокий, носит тёмно-зелёный костюм, а на плечах у него мелкие золотые звёздочки, и ты никак не можешь сосчитать, сколько их там насыпано.

Но папа дядю Игоря любит и твердит, что они дружат с самого детства. Правда, дядю Игоря сложно представить маленьким мальчиком, наверное, папа опять всё выдумал.

Дядя Игорь приходил часто, но потом вдруг пропал, надолго. И вернулся лишь тогда, когда ты уже пошла во второй класс. Он перестал носить свой тёмно-зелёный костюм и уже не казался таким уж страшным, может, потому что ты подросла, а может, потому что сильно похудел, стал говорить очень тихо и дышать со свистом, как сдувающийся воздушный шарик.

Наверное, новый дядя Игорь папе не слишком нравился — встречались они редко, и вместо оглушительного хохота из кухни слышались лишь негромкие разговоры и звон посуды. А потом дядя Игорь и совсем перестал приходить — после того вечера, когда они с папой разругались в пух и прах.

Папа тогда стучал ладонью по столу и кричал, что не потерпит в своём доме мракобесия и кликушества, а дядя Игорь кричал в ответ, что сам, своими собственными глазами видел, что натворила звезда Полюнь, и только божьи силы спасут его от смерти и ада. И ещё он кричал, что теперь твёрдо знает, что нужно делать, когда звезда придёт опять, а вот что папа будет делать, если она сию секунду рванёт прямо здесь, это очень интересно было бы посмотреть.

Мама, конечно, закрыла дверь, но это не помогало, и никакие цветные карандаши уже не смогли бы отвлечь тебя от папиного притворного смеха. “Ха-ха-ха, — кричал он, — звезда Полюнь тебе на погони!”

Дядя Игорь ушёл, папа вернулся в кухню и оставался там один до самого утра, а утром ворвался в комнату и разбудил тебя и маму плачем, похожим на лай. Лицо у папы было белое, глаза белые, и руки он держал так, словно собирался цапануться.

Но ничего страшного не случилось. Папа запнулся об ковёр, упал и перестал плакать. Мама вызвала “скорую”, папу забрали, но очень скоро отпустили домой, а дядя Игорь умер через четыре месяца в больнице. Перед смертью он попросил свою жену передать папе картонную папку с грязными веревочными тесёмками. Ничего интересного там не было — ты видела сама. Ничего, кроме газетных вырезок, мутных фотографий и православного календаря за 1991 год.

Твоя особая комната кружится, меняется, темнеет и светлеет. Отлетают в небытие зелёное кресло и алюминиевый обруч, но время терпеливо подбирает за тобой другие сокровища — предметы, книги, звуки, запахи и дни — не только твои, но и чужие.

После смерти лучшего друга ежевечерние папины сказки изменились. Раньше он рассказывал тебе о космических путешествиях зайцев и кошек, сочинял весенние пчелиные песни или гномьи стихи, а теперь вдруг решил говорить о другом.

На тебя сыпались истории странные и страшные. О дедушке, затоптанном быком. О костях динозавра, найденных за пасекой. О дяде, талантливом архитекторе, убитом у собственного дома — семнадцать ножевых ранений насчитали, а убийц так и не нашли. О заброшенных ракетных шахтах в тайге. О бабушке, красавице полячке, вынесенной военным штормом в дикую Россию, менявшей бриллианты на муку, но так и не купившей себе долгую жизнь. О летающей тарелке, опустившейся на гору, сверкнувшей длинным лучом и улетевшей прочь. О любимой папиной овчарке, защитнице и подруге, отравленной и закопанной под яблоней. О змее, устроившей гнездо в старом деревенском сортире. О медведе, стучащем толстым когтем в замёрзшее окно.

Папа метался между деревенским детством и городской юностью, путался в именах и датах, смертях и рождениях. Пёстрый хоровод его мыслей оседал в твоей голове — не процедить, не перебрать, не найти, в чьей теперь памяти хранится толстый дядька с пупком на боку, плачущий от разлуки с любимой лётчик-космонавт, запертые в погребе голодные дети, пьяный моряк, рубящий топором кухонную дверь. Мог ли быть этому конец? Завершалась ли жизнь со смертью, если кто-то ещё помнил, как курил,пил и говорил вот этот мертвец?

Конечно, истории о прошлом, тем более о чужом, проверить уже не было никакой возможности. Но и в настоящем папу кружило и несло то по мелочи, то по-крупному. Он спасал взобравшихся на многоэтажку самоубийц, покупал голодающим булочки с маком, вынимал из реки котят, ловил за капшон поскользнувшихся, утешал рыдающих — этаким городской супергерой в треснувших ботинках и кроличьей формовке. А потом рассказывал тебе о своих подвигах — без хвастовства, а так буднично, просто, вроде не так это важно, но было же, было.

Теперь уже и не вспомнить, в какой момент ты начала соображать, что все эти истории не могут быть правдой, — их слишком много для одного-единственного папы. Наверное, примерно в то же время, когда поняла, что твою семью вызывает в других людях недоумение и некоторую безразличность. Когда увидела контраст своей жизнью и упорядоченным, ровным существованием одноклассниц. Когда стояла, замёрзшая до дрожи, у играющей серебристо-голубыми бликами ловушки бассейна и слушала, как девочки смеются над твоим перешитым из мамино купальника костюмом. Когда осознала, что означают заботливо заплетённые косички, чистые туфельки, семейные прогулки, новые платья к каждому празднику, кудрявые щенки, домашнее печенье и плачущие в затейливо раскрашенной бумаге розы для учительницы на первое сентября.

Весь этот чётко осязаемый запах благополучия щекотал твои ноздри, тебе хотелось чихать и кричать во весь голос, как кричал папа после того, как дядя Игорь рассказал ему про звезду Полюнь. И тяжкую ненависть вызывала одноклассница, рассказывающая, как её благонадёжный отец вдруг куда-то пропал аж на целый вечер. Ушёл пройтись с другом, а вернулся только глубокой ночью. И как вся семья дружно обзванивала окрестные рестораны, потом больницы, потом морги, а гуляка пришёл в третьем часу ночи пьяненький — подрался где-то и даже пиджак немножко испачкал. И как они рыдали и обнимались, и отзванивались родне по всему городу и стране — нашёлся, нашёлся! И даже в Казахстан звонили старенькой двоюродной тётке.

И плевать бы на новое платье, и даже на блестящие туфельки, если бы хоть кто-то из твоей семьи мог рваться и искать друг друга вот так, через тысячи километров. Папа пропадал частенько, но мама никуда не звонила и ничего не говорила, просто уходила на работу и приходила вечером, пила чай и так по-особенному, коротко и звонко, ставила пустую чашку на стол. А папы не было сутки или двое, или неделю, а потом он возвращался домой с бородой, и от него пахло дохлой кошкой.

Когда мама забеременела, папа растерялся. Поутих, словно бы задумался, а потом нашёл себе занятие: стал готовиться к достойной встрече новорожденного. Рассказал Маше о столетнем аксакале, спустившемся в город напрямик с горных вершин для покупки спичек и мыла, заблудившемся среди одинаковых пятиэтажек и вышедшем к нужному магазину с папиной помощью. Аксакал отблагодарил папу тазиком тёмно-синего винограда и секретным рецептом домашнего вина, взмахнул бородой и побрёл обратно в сторону гор.

Папа долго хлопотал на кухне, давил податливую мякоть, переливал пенящуюся жижу в голубой бидон, колдовал с сахаром и дрожжами. Закончилась вся его возня трёхлитровой банкой мутной жидкости — папа плотно закрутил её металлической крышкой и объявил, что к новому ребёнку готов. Через неделю, глубокой ночью, мама уехала в роддом.

* * *

У младенца бесцветные, бессмысленные глаза — чистый лист, набросок человека. Младенец похож на толстенькую рыбку, он ничем не занят и даже собой не интересуется. Младенец шевелится, просит молочного тепла, а потом снова затихает, уходит в сон, на сон-то и не похожий.

Комната наполнена странным туманом — только новорождённые умеют создавать этот желтовато-голубой, аккуратный полумрак тишины. Там, за дверью, шумит большой город, но здесь задёрнуты шторы, выключен звук и отменены резкие движения.

Маша никак не могла сообразить, на что стала похожа их небольшая комната, затенённая, приглушённая, освещаемая лишь намёком. А потом поняла — аквариум. Впрочем, подводная тишина продлилась недолго. Тихая рыбка,двигающаяся плавно и неуверенно, спустя два месяца обрела голос, да ещё какой! Младенец краснел всем телом, гневно сжимал кулачки и наполнял криком целый мир, от земли до неба.

Аквариум исчез, как и не было, солнце било в окна, кружились ситцевые и фланелевые флаги пелёнок, а спокойствие возвращалось лишь ночью, на несколько часов. Время словно пропало, всё кругом пропало — ни школы, ни книг, ни праздников, а только стремительная смена освещений и декораций — вот утро, и пахнет кипячёным молоком; вот день, и дребезжат по асфальту пластмассовые колёса; вот вечер, и зажигается круглый ночник.

Свои страшные, удивительные и невозможные истории папа теперь не вспоминал. Рождение сына он отмечал, но как-то без усердия, всего пару дней, а потом вообще забросил и друзей, и весёлые встречи, и бессрочные прогулки. Поговаривал о постоянной работе, охотно возился с младенцем, много читал. Что-то, сломанное смертью дяди Игоря, вернулось к нему, а что-то ушло — как казалось, навсегда. Звенья дней скреплялись в цепочки недель, и ничего, абсолютно ничего не происходило, отчего жизнь вдруг стала похожа на счастье.

Взрыв раздался в субботу, незадолго до полуночи, разорвав на осколки уютный ночной полумрак.

Маша лежала, зажмурившись, мгновенно изъятая из тёплого убежища сна, в оглушительной после грохота тишине, и слушала, как кричит проснувшийся младенец и хрустит стекло под папиными тапочками.

Зажёгся верхний свет, и Маша открыла глаза. Светлые обои, белёный потолок, паруса пелёнок — всё было покрыто мелкими розовато-сиреневыми брызгами размером с копеечные монетки. Длинные тёмные потёки тянулись от батареи по ковру, сиреневые стрелы наискось украшали занавески.

Забывтое папой домашнее вино, два месяца прятавшееся в стеклянной банке, превратило обычную комнату в творение буйного живописца, поклонника сиреневого и всех его оттенков. Сумасшедший художник побрезговал лишь человеческой кожей — ни одного пореза не оказалось ни у кого.

Папа бродил по комнате с веником в руках, мама кормила младенца, закрывая его личико от яркого света, кажущегося глубокой ночью воспалённым

и болезненным, а Маша свернулась клубочком на лишённой постельного белья кушетке.

— Это Игорь, — сказал вдруг папа и выпрямился. — Он же меня предупреждал. Звезда всегда появляется, когда не ждут. К нему вон Полюнь приходила, с собой забрала. А к нам... — папа оглядел расписанную брызгами комнату, — а к нам, видать, Сирень наведалась.

И засмеялся тихонько. А мама заплакала. Звезда Сирень смотрела на них с потолка и стен, пахла ягодами и дрожжами, поблескивала стеклянной крошкой.

— Машка, хорошенько запомни! — папа стягивал с верёвки забрызганные плёнки, бросал их на пол и говорил громко, нараспев. — Нам теперь ничего не страшно! Я всегда подозревал, что жизнь у меня особенная будет, только знака ждал. И вот он — знак-то! Видала, как рвануло? И хоть бы хны! — Он обмотал руку ситцевой, в цветок, плёнкой, и осторожно доставал осколки из детской кроватки. — Сын вырастет — ему расскажу. Ты, главное, знай, мы все теперь, как в броне! Покрепче саркофагов всяких! Ну, что ты скукожилась? Замёрзла? На вот одеяло, я его вытряс уже. Да на пол не ступай, не ступай, я укрою.

Под одеялом Маша быстро согрелась и уснула, но даже сквозь сон слышала, как папа всё говорил, говорил, а мама ничего ему не отвечала. На следующий день Маша не пошла в школу, чему, впрочем, она огорчилась мало — в расписании был ненавистный бассейн.

В окружении сиреневых клякс на стенах и потолке они прожили ещё шесть лет. Папа гордился следами локального катаклизма и охотно приглашал к себе друзей: рассказать о взрыве, продемонстрировать его размах и показать себя — живое свидетельство чуда.

Всё стало, как прежде. Гости, кухонный хохот, споры. О постоянной работе папа больше не вспоминал, перебивался случайными шабашками, пропадал где-то сначала днями, а потом и неделями. Всё стало, как прежде, за исключением новой жизни, включившейся в это пёстрое месиво и ставшей её полноправным участником.

Младенец стал Мишкой — чудом, сердцем, любовью в растянутых синих колготках. Ему доставались самые удивительные папины сказки, похожие на давние, Машины, но полные такого тёплого света и такой трепетной надежды, что хотелось плакать и петь. Наверное, однажды вместо сказки папа рассказал Мишке историю о звезде Сирени, о защите, что крепче любого бетонного саркофага, о знаках, дающихся лишь избранным и твёрдо обещающих счастье. Скорее всего, Мишка легко поверил папиным словам, ведь он верил даже тем историям, в которых папа помогал пожарным тушить зоопарк и выносил из огня задыхающегося крокодила. Впрочем, это всё было уже неважно, потому что звезда Сирень свои обещания не сдержала.

* * *

Когда Маша возвращается домой, на улице уже совсем темно.

Она жмёт на ледяные кнопки домофона, открывает тяжёлую дверь и поднимается на второй этаж. Подъезд наполнен разнокалиберным шумом: кто-то получает вечернюю порцию телеэфира, кто-то громко выясняет невыясненное, а кто-то издаёт оглушительный запах пригоревшего картофеля. Все спрятались по своим утеплённым норам, однако в подъезде Маша не одна.

Очень старая женщина в тёмном платке смотрит на Машу внимательно и серьёзно, наклонив голову набок и прижав руки к груди. Глаза её, чёрные и блестящие, словно бы маслянистые, отражают в себе скудный свет уставших подъездных лампочек.

— Девочка, Геннадий Сергееч здесь живёт? — спрашивает женщина у Маши, а та соединяет в голове безусловный кавказский акцент, две объёмистые спортивные сумки и пугается до сердцебиения. — А ты дочка, наверное? Чего лицо несчастное? Обидел кто? Отца-то позови, давно жду уже, звоню, не открывают, а я чую, что дома.

По вечерам папа любит слушать музыку в наушниках — так ему легче засыпается, но объяснять это неожиданной гостье Маше не хочется. Она отпирает дверь, проходит в комнату, стягивает с отца наушники и трясёт его за плечо.

— Пап! Папа! Тут к тебе пришли! Проснись!

Он открывает глаза и улыбается Маше так безмятежно, словно за окнами всё ещё восемьдесят шестой, и в целой стране — тихий полумрак, как в комнате с новорождённым, и скоро придут друзья, и никакие звёзды — ни зелёная, ни сиреневая — никогда не взорвутся.

— Геннадий Сергеич! — зовёт его черноглазая. — Иди сюда, дорогой. — И когда папа выходит в коридор, старуха вдруг падает перед ним на колени и плачет.

Папа смущён, но не удивлён.

— Ну, чего ты, мать, ну, чего ты, я ж, как мог, быстро ехал. Видать, судьба такая, ничего не попишешь — все там будем в своё время...

— Сынок, ты быстро ехал, быстро! — рыдает старуха. — И успел! Откачали его врачи, не помер! Лежит в больнице, велел тебя найти и благодарить, как могу! Не помер он, не помер, понимаешь?

Папа смеётся и поднимает старуху с колен.

— Не зря, значит, гнал! Ну, мать, крепкий у тебя дед, ещё сто лет проживёт!

Старуха тоже смеётся и долго кашляет, а потом достаёт из сумок брызжащие солнцем жёлтые яблоки, туго обтянутые королевским пурпуром баклажаны, отполированные до блеска помидоры и пучки влажной зелени, пахнущие летним дождём. Всё это ароматное, сочное великолепие — невозможное, невиданное богатство, сама жизнь — переливается в смуглых дрожащих руках, бесстыдно рассыпается по журнальному столику, креслу и ковру, а в комнате отчего-то становится светлее.

Старуха сворачивает опустевшие сумки. Она больше не плачет и ничего не говорит, а просто смотрит на двух людей, в растерянности стоящих рядом с разноцветной россыпью её благодарности. Потом отступает в темноту коридора и словно растворяется там — чёрная на чёрном. А потом совсем уходит, и никто её не удерживает.

— Папа... — шепчет Маша, — так ты что, мне правду про старика рассказывал?

— Ну, Машка, ты даёшь! — сердится папа. — Ну, когда я тебе врал, а? У меня такое правило: детям и женщинам только правду, и ничего, кроме правды.

— Ничего, кроме правды, — как эхо, повторяет его слова Маша, — ничего, кроме правды...

У неё кружится голова. Завтра она проснётся с высокой температурой — мокрые волосы после бассейна не пройдут даром. А пока Маша чувствует себя такой слабой, словно из её тела вдруг исчезло всё твёрдое, основное, а осталось что-то незначительное вроде холодца или пастилы.

Все папины истории, всегда бывшие призраками и бесплотной ложью, вдруг обрели весомость вероятного существования, а каждое слово из когда-то сказанных оказалось готово пройти дорогу от “верю — не верю”, яркого камушка в одном из трёх стаканчиков, платка в рукаве фокусника и кролика в шляпе, загадки без ответа, кривых зеркал и грязных стёкол до ослепительной, чистой истины.

Да и какая разница, была ли правда, если от всей жизни ничего не остаётся, кроме воспоминаний: тёплых сквозняков, вздохов, пыли в солнечных лучах. И закричит рожающая в машине чернокожая женщина, закивает седой головой аксакал, замашет лапой сердитый, замёрзший медведь, закурит позабытый всеми мертвец, улыбнётся юная, ничего ещё не знающая мама, и зажжётся над всеми нами горячая, всепрощающая звезда Сирень.